

*Г.С. Зобин*  
*G.S. Zobin*

**«...И ПРИНИЖЕННЫЙ ГЕНИЙ МОГИЛ»  
(НАПОЛЕОН В ТВОРЧЕСТВЕ О. МАНДЕЛЬШТАМА)**

**“... AND THE BELITTLED GENIUS OF THE GRAVES”  
(NAPOLEON IN THE WORKS OF O. MANDELSTAM)**

В работе исследуется наполеоновская тема в творчестве О.Э. Мандельштама. Она рассматривается в ее многочисленных связях с русской поэзией XIX века, с образом Наполеона в стихах А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева, а также через опыт Мандельштама как переводчика О. Барбье и автора статей о французской литературе. Важным моментом в исследовании является понимание поэтом современности фигуры Наполеона XX столетия.

This article is an investigation of the Napoleonic theme in the work of O.E. Mandelstam. This theme is considered through its various relations with the Russian poetry of XIX century, through the image of Napoleon in the poems of Pushkin and Tutchev, and through Mandelstam's experience as the interpreter of O. Barbier and as the author of articles about French literature. The significant moment of the investigation is the poet's understanding of the modernity of the figure of Napoleon to the 20<sup>th</sup> century.

*Ключевые слова:* Мандельштам, война, Наполеон, поэзия, небо, имена, даты, неизвестный солдат, Пушкин, Тютчев, современность.

*Keywords:* Mandelstam, war, Napoleon, poetry, sky, names, dates, an unknown soldier, Pushkin, Tutchev, the modernity.

В жизнь Мандельштама Наполеон вошел в самые ранние годы – как непереносимое наследие XIX века, последнее десятилетие которого совпало с детством поэта. Впервые он услышал о Наполеоне от своих французских гувернанток, говоривших о нем с трепетным, культовым благоговением, о чем вспоминал в «Шуме времени»: «Жо мне нанимали стольких французенок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно...» В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года»<sup>1</sup>...

Чуть позже восприятие Бонапарта сформировалось благодаря «книжному шкапу» матери, где хранилась русская классика, очень рано прочитанная Мандельштамом. Это был и Пушкин со всей безмерной сложностью отношения к Наполеону, и Лермонтов с его амплитудой от «Двух великанов» и «Бородина» до «Воздушного корабля», и Толстой с гомеровской всеохватностью зрения и «мыслью народной», осуждающей объятую гордыней хищника, жаждущего безраздельной власти над миром.

В отрочестве пришел Достоевский с его насквозь прожигающим вопросом – «имеет ли право» человек распорядиться во имя любой, пусть самой возвышенной и благородной цели, нет, даже не миллионами чужих жизней, подобно Наполеону, а одной? Конечно же, прекрасно знал Мандельштам еще с юности и стихи Державина, связанные с наполеоновской темой, и «Песнь барда над гробом славян-победителей», «Певца во стане русских воинов» и «Ночной смотр» Жуковского, и «К Дашкову», «Переход через Рейн» и «Тень друга» Батюшкова, но самое глубинное сущностное значение в осмыслении фигуры императора-корсиканца имело для него стихотворение его любимого поэта Ф.И. Тютчева «Наполеон»:

Два демона ему служили,  
Две силы чудно в нем слились:  
В его главе — орлы парили,  
В его груди — змии вились...

Но освящающая сила,  
Непостижимая уму,  
Души его не озарила  
И не приблизилась к нему...  
Он был земной, не Божий пламень,  
Он гордо плыл – презритель волн, –  
Но о подводный веры камень  
В щепы разбился утлый челн<sup>2</sup>.

Тютчев говорил здесь о крушении гордых замыслов Наполеона, стремившегося переустроить мир по своей воле, при их столкновении с Божьей правдой и действием живого Бога в истории. Мощь империи, покорившей почти всю Европу, разбилась о стойкость двух стран, где вера народа была крепка – России и Испании.

В поэзии Мандельштама имя Наполеона впервые прозвучало в стихотворении «Европа», написанном в 1914 году накануне Первой мировой войны, приближение которой явственно ощущалось.

Завоевателей исконная земля,  
 Европа в рубище Священного союза:  
 Пята Испании, Италии медуза  
 И Польша нежная, где нету короля.  
 Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта  
 Гусиное перо направил Меттерних, –  
 Впервые за сто лет и на глазах моих  
 Меняется твоя таинственная карта!<sup>3</sup>

Мандельштам видел, что столетие относительного спокойствия, установленного Священным союзом после победы над Наполеоном, под знаком которого прошел почти весь XIX век, нарушаемого лишь локальными войнами и революциями, не имевшими значимых последствий, заканчивается, и европейский мир вступает в новую эпоху потрясений. В свете надвигавшихся событий Наполеон осознавался уже не прошлым, но становился сопричастным современности, неразрывно с ним связанной. Подобно как в стихотворении Пушкина «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», где Александру I, наслаждающемуся установленным им «от царскосельских лип до башен Гибралтара» европейским спокойствием, в полночь является призрак императора Франции, словно бы говоря «владыке Севера» о шаткости и ненадежности этого видимого равновесия, так и теперь отзвуки громов наполеоновской эпохи эхом откликнулись в новейшей истории.

Страсти и надежды того грозного времени на поверку оказались неизжитыми и лишь ждали урочного часа. Мандельштам размышлял об этом в стихах военных лет, в частности, в оде «Зверинец»:

Отверженное слово «мир»  
 В начале оскорбленной эры;  
 Светильник в глубине пещеры  
 И воздух горных стран — эфир;  
 Эфир, которым не сумели,  
 Не захотели мы дышать.  
 Козлиным голосом, опять,  
 Поют косматые свирели<sup>4</sup>.

Неразрывную связь двух великих эпох мировой культуры и двух войн – для России обе они были Отечественными – Мандельштам ощущал необычайно остро. Об этом, в частности, свидетельствует, его неоконченный стихотворный отрывок 1915 года:

Какая вещая Кассандра  
Тебе пророчила беду?  
О будь, Россия Александра,  
Благословенна и в аду.

Рукопожатье роковое  
На шатком неманском плоту<sup>5</sup>.

Имелась в виду встреча Александра I и Наполеона 25 июня 1807 года на плоту посредине Немана, где было заключено мирное соглашение, а затем, в Тильзите, и союз с Францией, в результате чего упразднялась антифранцузская коалиция, в которую входили Россия, Пруссия и Австрия. Слово «роковое» Мандельштам употребил неслучайно.

Точно также, как Тильзитский мир имел для России тяжелые и унижительные последствия, так и современный ему военный союз с Францией против Германии Мандельштам считал роковым шагом для России.

Затрагивалась тема наполеоновских войн и в стихотворении 1917 года «Декабрист», где речь шла о традициях русского свободолюбия, усилившегося после заграничных походов и победы над Бонапартом. Еще в кантате Жуковского «Песнь барда над гробом славян-победителей», написанной в 1806 году, прозвучал призыв к соотечественникам освободить поработленную Наполеоном Европу, нашедший горячий отклик во многих сердцах. С таким настроением отправлялись в заграничный поход просвещенные русские офицеры. В те годы в России особенно окрепло чувство европейства и всечеловечества, без которого у нас не могли появиться ни Пушкин, ни Достоевский. Отозвалось оно стремлением сделать свободной жизнь собственного Отечества. Позже Мандельштам писал о русских мальчиках своего поколения, что они шли в революцию, как Николенька Ростов – в гусары.

С необычайной исторической и художественной точностью, буквально с помощью нескольких деталей поэт воссоздал тогдашнюю Европу, покоренную новым Цезарем, в частности, романтическую Германию, которую жаждали освободить русские юноши, обретшие в ней свою Мекку взамен Франции эпохи Просвещения и энциклопедистов.

Шумели в первый раз германские дубы,  
Европа плакала в тенетах,  
Квадриги черные вставали на дыбы  
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,  
 С широким шумом самовара,  
 Подруга рейнская тихонько говорит,  
 Вольнолюбивая гитара<sup>6</sup>.

«Голубой пунш в стаканах» напоминал о пирушках молодых мечтателей, о несбывшихся надеждах этого поколения на благие перемены в жизни России после войны – увидеть «рабство, падшее по манию царя», что и привело многих из них на Сенатскую площадь, «вольнолюбивая гитара» – о переходе через Рейн русской армии в 1814 году.

Стихотворение было написано незадолго до большевистского переворота. Не услышанным уроком прозвучали в нем слова, вместившие выстраданный всей жизнью опыт героя-декабриста – «Вернее труд и постоянство». Это было причиной, по которой, не приемля идеи насильственной революции, от Тайного общества еще задолго до восстания отошли великие современники будущих декабристов – Николай Тургенев, Грибоедов и любимый Мандельштамом Чаадаев. Зная историю французской революции, они хорошо понимали, что русская будет намного кровавее и неизбежно завершится диктатором куда более страшным, чем Наполеон. Прямое порождение революции видел в Наполеоне и Тютчев, сказавший о нем:

Ты всю ее носил в самом себе<sup>7</sup>.

То, что не совершилось в России в XIX столетии, произошло в XX. Наступление этой «отложенной катастрофы» заставило Мандельштама по-новому увидеть и осмыслить фигуру Наполеона в мировой истории.

В 1920-е годы размышления о нем в мандельштамовской прозе – эссе, предисловиях, заметках, – неизбежно проецируются на судьбы современности. Так, в очерке «Слово и культура», имея в виду творческий путь художника Жака-Луи Давида – якобинца, члена Конвента, голосовавшего за казнь короля, друга Робеспьера, автора знаменитых полотен «Клятва Горациев» и «Смерть Марата», ставшего затем придворным портретистом Наполеона, – поэт писал: «Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму. Не потому, что Давид снял жатву Робеспьера, а потому, что так хочет земля»<sup>8</sup>. Пройдет совсем немного времени – и конструктивизм в архитектуре сменится сталинским «большим стилем», а авангард в живописи уступит место ложноклассическому соцреализму, точно также, как при Наполеоне восторжествовал ампир.

Писал Мандельштам и о центральном значении фигуры Бонапарта для французской жизни и особенно литературы второй половины XIX века, о появлении среди ее героев множества маленьких «бонапартиков» из провинции, в частности, в статье «Конец романа»: «Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией. В эпоху Наполеоновских войн вокруг биографии Наполеона образовался целый вихрь подражательных маленьких биографий, воспроизводивших судьбу центральной исторической фигуры, не доводя ее, конечно, до конца, а варьируя на разные лады. Стендаль в «Rouge et «Noir» («Красное и Черное» – фр.) рассказал одну из этих подражательных вихревых биографий»<sup>9</sup>.

Касался Мандельштам наполеоновской эпохи и в предисловии к роману французского писателя Лефевра Сент-Огана «Тудиш», вышедшему в 1925 году в ленинградском издательстве «Время», перевод которого он редактировал. Во внутренней издательской рецензии на этот роман Мандельштам называл его главного героя «ампирным Чичиковым», ловким и преуспевающим авантюристом «золотого» наполеоновского века.

В предисловии он писал: «Любой мещанский французский писатель, любой академик одобряет Революцию – до Робеспьера, и с лицемерным пафосом отвергает ее дальнейшее развитие. Директория и наполеоновская эра в любом банальном французском романе представляется как тихая бухта после мрачного шторма, как начало и обещание золотого века. Особенно наполеоновская эра истолковывается, в некотором роде, как залог «победоносных возможностей» будущего, как классический образец, отбрасывающий тень на сомнительное величие буржуазной республики»<sup>10</sup>.

В самом Наполеоне Мандельштам видел характерные черты обычного человека, стремящегося обрести сверхчеловеческие масштабы – «покорителя Парижа» из провинции, корсиканского выскочки: «...Прославленный император, любимец рантьефов, тайный идол французского мещанина, чей малахитовый саркофаг в самом сердце Парижа до сих пор служит предметом сентиментального поклонения буржуазии, – вылеплен из того же теста, что и всякий буржуа, и что не случайно буржуазная Франция поставила его в число своих исторических пенатов»<sup>11</sup>.

Трактовка Наполеона как воплощения торжествующей буржуазности рубежа XVIII–XIX столетий (в отличие от М. Цветаевой, для которой фигура этого императора была культовой, особенно в юности,

и окружена романтическим ореолом), встречалась у Мандельштама и в начале 1930-х годов – в пьесе для радио «Молодость Гете»: «Голубой фрак, в который одевался Вертер, послужил символом победоносного ухода от действительности, на самом же деле, ...этот литературный образ... чувствительного молодого буржуа, стоящего вне своей среды, послужил лишь к укреплению жизненности своего класса, и недаром Наполеон брал его с собой в поход и перечитывал его семь раз»<sup>12</sup>.

А в заметке об Огюсте Барбье в 1923 году, касаясь оценки французским поэтом исторической роли Наполеона и явно с этой оценкой солидаризируясь, Мандельштам писал: «В ненависти своей к Наполеону Барбье одинок во всей романтической школе. Для Наполеона приберегает он самые сокрушительные, дантовские образы. Для него Наполеон еще жив. Яд наполеоновского культа, разлагающий демократию того времени, яд, приготовленный в лабораториях лучших поэтов и художников, он рассматривает как опаснейший токсин... Отзвуки его голоса мы слышим у Лермонтова и даже у Тютчева (когда он говорит о Наполеоне)»<sup>13</sup>.

Связь этих исторических аллюзий с современностью слышалась все отчетливее. Сквозь затихающую стихию русской революции уже был виден культ вождя – человекобога.

Те же мотивы звучали в мандельштамовском переводе стихотворения Огюста Барбье «Наполеоновская Франция»:

О, корсиканский зверь с прямыми волосами,  
 Ты помнишь мессидора ясь!  
 Без бронзовой узды с золотыми удилами  
 Кобылой Франция неслась.  
 Явился ты: взглянул на сильных ног затеи  
 И на крутую стать боков,  
 Вцепился в гриву ей, кентавр с короткой шеей,  
 И смял движеньем каблуков...  
 И вся в испарине — до темного румянца, —  
 Как бы осечкою колен,  
 Споткнулась — и сдалась на милость корсиканца.  
 Но ты, палач, без перемен!  
 Строгая ей бока, ломая позвоночник,  
 Ты взвил струной свою рабу  
 И бешеной узды холодною цепочкой  
 Рванул ей нежную губу;

И в поле, где война цветет, как море гречи,  
Стальной огрызок теребя,  
Она, как на ковер, упала на картечи,  
На ребра положив тебя<sup>14</sup>.

Особого внимания заслуживает краткое замечание Мандельштама в очерке «Вокруг натуралистов» из «Путешествия в Армению», где речь идет об эволюционном учении Ламарка: «Наполеон позволял ему настраивать природу, потому что считал ее императорской собственностью»<sup>15</sup>.

Известны слова Наполеона, что небо он оставляет Богу, а землю возьмет себе. Узурпации власти во Франции ему было мало – он стремился узурпировать Божественную власть над миром. Сам того не замечая, он уподобился первым людям из библейского рассказа о грехопадении, за которым последовало братоубийство. Мятеж против Бога неизбежно обернулся человеческим самовластием над себе подобными, над жизнями других людей. С этой проблематикой связано стихотворение Мандельштама, где наполеоновская тема прямо не названа, но залегает на глубине – «А небо будущим беременно...». Один из мотивов его – бурное развитие военной авиации в 1920-е годы и участие ее в грядущих войнах. Основываясь на опыте Первой мировой, Мандельштам провидел, каким страшным орудием массового уничтожения людей станет это великое изобретение человеческого разума.

В мандельштамовской поэзии много скрытых пушкинских кодов. В стихотворении «А небо будущим беременно...» слышится смысловой отзвук «Анчара». По жанру своему «Анчар» – это притча. Первые пять его строф рисуют само «древо зла», за которым стоит библейский архетип дерева познания добра и зла, чей плод, по словам змея, дает человеку вожделенную абсолютную власть над миром – без Бога. А дальше следует рассказ, чем это оборачивается на самом деле:

Но человека человек  
Послал к анчару властным взглядом:  
И тот послушно в путь потек  
И к утру возвратился с ядом.  
  
Принес — и ослабел и лег  
Под сводом шалаша на лыки,  
И умер бедный раб у ног  
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал  
 Свои послушливые стрелы  
 И с ними гибель разослал  
 К соседям в чуждые пределы<sup>16</sup>.

Наполеон для Пушкина недаром был одной из центральных фигур в истории. В связи с ним поэт немало размышлял о природе земной власти. В «Анчаре» определения «бедный раб» и «непобедимый владыка», «царь» появляются не сразу. Изначально изображены два человека без каких-либо социальных различий. Но у одного – «властный взгляд», у другого – покорность. Ведь не случайно и раб идет за ядом «послушно», и отравленные стрелы князя – «послушливые».

И человеческая жизнь, и неодушевленные орудия убийства в равной степени становятся лишь средством к утолению неутоляемой жажды власти. Как и для Наполеона сотни тысяч его солдат, которых он «властным взглядом» посылал на смерть, были только расходным материалом в честолюбивых замыслах императора. Мандельштам пошел дальше. Он увидел, что это «воля к власти» досталась человеку в наследство от мира животного, от слепого инстинкта «альфа-самцов» и «альфа-самок», и несет на себе печать тютчевского «древнего хаоса» – всего самого низкого, темного, элементарного, не просвещенного духом. При таком внутреннем состоянии человечества любые великие научные и технические открытия становятся орудием первобытного зверства и являют собой «союз ума и фурий»:

Опять войны разноголосица  
 На древних плоскогорьях мира,  
 И лопастью пропеллер лóснится,  
 Как кость точеная тапира.  
 Крыла и смерти уравнение, –  
 С алгебраических пирушек  
 Слетев, он помнит измерение  
 Других эбеновых игрушек,  
 Врагиню ночь, рассадник вражеский  
 Существ коротких ластоногих,  
 И молодую силу тяжести:  
 Так начиналась власть немногих...<sup>17</sup>

Но если даже в природе борьба видов, взаимопожирание и безраздельная власть вожака над стаей с точки зрения евангельской рассма-

триваются как недолжное состояние, не входившее в Божественный замысел, как жизнь по законам искаженного мира (достаточно вспомнить слова апостола Павла о том, что «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что... освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих, ... что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим, 8, 20–22), то перенесение этих «дарвиновских» принципов на человека – существо, наделенное Творцом разумом, свободой выбора и совестью – стирает в нем личность, делает его игрушкой в руках наполеонов и всех тех, кому имя легион, ставит ниже животных – на «подвижной лестнице Ламарка», лишая духовно-нравственной составляющей. И пилот совершеннейшей из боевых машин своего времени становится подобием «послушливой стрелы» из «Анчара», орудием чужого властолюбия, отравленным первородным грехом:

А вам, в безвременьи летающим  
Под хлыст войны за власть немногих, –  
Хотя бы честь млекопитающих,  
Хотя бы совесть ластоногих,  
И тем печальнее, тем горше нам,  
Что люди-птицы хуже зверя  
И что стервятникам и коршунам  
Мы поневоле больше верим<sup>18</sup>.

Но на последней глубине тема Наполеона и его современности XX века, окончательно обесценившему человеческую жизнь на войнах и в лагерях «от Дахау до Нарыма», раскрывается в «Стихах о неизвестном солдате». Эпоха стирала имена и даты рождения, превращая людей в «массы». Неизвестный солдат был знаком этой эпохи. Н.Я. Мандельштам вспоминала: «Я спросила О.М.: «На что тебе сдался этот неизвестный солдат?».. Он ответил, что, может, он сам – неизвестный солдат»<sup>19</sup>. Наполеоновские войны, где счет убитым в сражениях пошел на десятки и сотни тысяч, стали предвестием XX столетия. Эта связь – один из главных, глубинных мотивов «Стихов о неизвестном солдате». В своем комментарии к стихотворению Н.Я. Мандельштам писала: «На первом этапе работы разрабатывалась тема пехоты, окопов, свороченных пластов земли... и неба, если на него смотреть из окопов... Здесь всё принадлежит первой мировой войне с реминисценциями назад к девятнадцатому веку – Наполеон, Ватерлоо, Битва Народов и т.п.»<sup>20</sup>.

В одном из черновых вариантов стихотворения «наполеоновский» мотив прозвучал открыто и явно:

Аравийское месиво, крошево,  
Свет размолотых в луч скоростей -  
И своими косыми подошвами  
Свет стоит на сетчатке моей, –

Там лежит Ватерлоо – поле новое,  
Там от битвы народов светло:  
Свет опальный – луч наполеоновый  
Треугольным летит журавлем.

Глубоко в черномраморной устрице  
Аустерлица забыт огонек,  
Смертоносная ласточка шустрится,  
Вязнет чумный Египта песок<sup>21</sup>.

Здесь прямо названы и имя Наполеона, и египетский поход с эпидемией чумы, и Аустерлиц, и «битва народов» – Лейпциг, и Ватерлоо.

Под «черномраморной устрицей» подразумевается могила Наполеона в Париже, которая аukaется с парижской же Могилой Неизвестного Солдата, созданной после Первой Мировой войны.

Однако в окончательной редакции Мандельштам сделал наполеоновскую тему более ассоциативной, но вместе с тем окрашивающей все стихотворение, становящейся его смысловой основой с многочисленными связями, а главное – обретающей историческую перспективу.

Весть летит светопыльной обною:  
– Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,  
Я не Битва Народов, я новое,  
От меня будет свету светло<sup>22</sup>.

Два сущностных образа в «Стихах о неизвестном солдате», стержневых, играющих роль своего рода несущих конструкций – это небо и земля.

Неподкупное небо окопное –  
Небо крупных оптовых смертей –  
За тобой, от тебя, целокупное,  
Я губами несусь в темноте...<sup>23</sup>.

«Небо крупных оптовых смертей» отзывается небом Аустерлица из «Войны и мира», которое видит над собой раненый князь Андрей Болконский и на фоне которого ничтожными выглядят и дерущиеся люди, и самые жизнь и смерть. Может показаться, что таков же и взгляд Мандельштама:

Будут люди холодные, хилые  
Убивать, холодать, голодать...<sup>24</sup>.

Но на деле его точка отсчета была диаметрально противоположна толстовской.

Ведь несмотря на свою силу, величие и красоту, эпизод с аустерлицким небом – один из самых страшных в русской литературе.

«С точки зрения вечности» в нем утверждается ничтожность и бессмысленность человеческой жизни, отрицается ее сущностная ценность.

В этом эпизоде весь будущий Толстой с его буддийским равнодушием к «временному» – к культуре, к творчеству, к страданию здесь и теперь.

Мандельштам же говорил, что корабль современности и есть корабль вечности. Он мог бы повторить за своим любимым поэтом Баратынским:

Нет на земле ничтожного мгновенья<sup>25</sup>.

Будучи верным совестью традиции Достоевского и евангельскому идеалу жизни, Мандельштам понимал абсолютное, бытийственное, вселенское значение и высшую драгоценность каждого человека, даже самого малого и незаметного из этих «холодных, хилых» людей, из всех живущих, среди которых любой «несравним». Небо же настоящее – умное небо – обреталось изнутри, из глубины сердца.

Земля в «Стихах о неизвестном солдате» предстает обезображенной и искалеченной человеческим грехом, «пустой и безвидной», как в первой главе Книги Бытия, непригодной для жизни.

За воронки, за насыпи, осыпи,  
По которым он медлил и мглил:  
Развороченных — пасмурный, оспенный  
И приниженный гений могил<sup>26</sup>.

Два эпитета создают здесь эффект взаимопросвечивающих временных планов. «Пасмурный» напоминает о Наполеоне. Он связан

с аллюзией из седьмой главы «Евгения Онегина», где Татьяна, придя в онегинскую усадьбу, видит на столе хозяина статуэтку Наполеона –

... Столбик с куклою чугунной  
Под шляпой с пасмурным челом,  
С руками, сжатыми крестом<sup>27</sup>.

«Оспенный» же настраивает на современность и адресует к «рябому черту» – «кремлевскому горцу» с «жирными пальцами» и «таракаными усищами».

В судьбах двух этих персонажей немало схожего. Оба были порождением революции, оба, покончив с ней, начали строить империю, оба, будучи инородцами с окраин, стали безраздельными, хозяевами страны, оба ни в грош не ставили человеческие жизни, за исключением своей собственной, «задешево» расходуя их в войнах и на гулаговских «великих стройках». К обоим, как нельзя точнее, подходит определение «гений могил».

Образ мира, ставшего гигантским полем битвы, заваленным множеством тел убитых, явленный в «Стихах о неизвестном солдате», напоминает о другом произведении, где наполеоновская тема была главной. Будучи в 1908–1909 гг. в Париже, Мандельштам, по всей вероятности, мог видеть на сцене пьесу Э. Ростана «Орленок», где роль юного герцога Франца Рейхштадтского, сына Наполеона, мечтающего об отцовской славе, играла великая, а тогда уже 65-летняя актриса Сара Бернар.

В пьесе есть сцена, когда во время своего неудавшегося побега во Францию, чтобы занять там императорский трон, Франц оказывается на Ваграмском поле – месте, где в 1809 году произошло одно из самых кровопролитных сражений за всю историю наполеоновских войн. В видении он слышит стоны тысяч раненых, искалеченных, безруких, безногих, истекающих кровью, обезображенных, лежащих вповалку друг на друге умирающих солдат – тех, чьими жизнями его отец заплатил за эту победу. Объятый ужасом, Франц просит каждого из них назвать свое имя. И тогда люди, бывшие для Наполеона только массами, построенными и расположенными им в геометрическом порядке – корпусами, дивизиями, полками, шеренгами, – для Франца вместе с именами обретают личность и неповторимую судьбу, человеческую ценность, мера которой – евангельская притча об одной потерянной овце.

**Герцог.**

О, страшный сон я вижу наяву!

Мундиры я топчу, а не траву...

Усеяна телами вся дорога...

Ко мне, как руки, тянутся кусты...

**Крик** (направо).

Ко мне... ко мне!.. О Боже, сколько муки!

**Голос** (налево).

Драгун, скорее протяни мне руки!..

**Голос** (отвечая холодно)

Их у меня уж нет, не видишь ты?..

**Герцог.**

О ужас... Вот она – война...

Тень, ветер, травы.

О...

(с отчаянием).

Призраки с кровавыми глазами,

Я в ужасе склоняюсь перед вами,

Но... ведь зато все ваши имена

Покрыты блеском вечно юной славы.

И, как победы крики, величавы...

(Призраку)

Кто ты?..

**Голос.**

Я – Пьер.

**Герцог.**

Ты?..

**Голос.**

Жак.

**Герцог.**

Ты?..

**Голос.**

Поль.

**Герцог.**

Ты?..

**Голос.**

Жан.

**Герцог.**

Ты?..

**Голос.**

Пьер...

**Герцог.**

Ты, кровью из несчетных ран  
Весь залитой?

**Голос.**

Я – Поль.

**Герцог** (со слезами)

О Боже, Боже...

Вы, бедные, родные имена...

Вы кровью славу добыли –  
и что же?

Не вам, не вам достанется она!..<sup>28</sup>

Мандельштам отнюдь не был поклонником Ростана, в отличие от Цветаевой, но сцена Ваграмского поля могла стоять для него всего «Орленка». Ее отголосок слышен в финале «Стихов о неизвестном солдате», где каждый в бесчисленных рядах (в том числе и сам поэт – он всегда ощущал себя человеком среди людей) называет дату рождения. Эта память делает его причастным своей эпохе, историческому времени, а через него – вечному бытию, пришедшим в жизнь неслучайно и навсегда.

Наливаются кровью аорты,  
И звучит по рядам шепотком:  
– Я рождён в девяносто четвёртом...  
– Я рождён в девяносто втором...  
И в кулак зажимая истёртый  
Год рожденья с гурьбой и гуртом,  
Я шепчу обескровленным ртом:  
Я рождён в ночь с второго на третье  
Января в девяносто одном.  
Ненадёжном году, и столетья  
Окружают меня огнём<sup>29</sup>.

Эта строфа вызывает в памяти и 37-ю главу из Книги пророка Иезекииля, где иссохшие мертвые кости обрастают плотью и оживотворяются Духом Божиим. В библиестике ее считают первой ветхозаветной вестью о грядущем воскресении.

В выборе между историческими свершениями «гениев могил» и судьбами обычных людей Мандельштам всегда принимал сторону человека, как прежде Пушкин – сторону бедного Евгения, а не Медного всадника.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Мандельштам О.Э.* Полн. собр. соч. в 3 т. Т. 2. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. С. 213

<sup>2</sup> *Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1936. С. 174.

<sup>3</sup> *Мандельштам О.Э.* Полн. собр. соч. в 3 т. Т. I. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 77–78.

<sup>4</sup> Там же. С. 90.

<sup>5</sup> Там же. С. 294.

<sup>6</sup> Там же. С. 96.

<sup>7</sup> *Тютчев Ф.И.* Указ. соч. С. 174.

<sup>8</sup> *Мандельштам О.Э.* Указ. соч. Т. 2. , 2010, С. 51.

<sup>9</sup> Там же. С. 121.

<sup>10</sup> *Мандельштам О.Э.* Указ. соч. Т. 3. С. 113–114.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же. С. 305.

<sup>13</sup> Там же. С. 99–100.

<sup>14</sup> *Мандельштам О.Э.* Указ. соч. Т. I. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 390–391.

<sup>15</sup> *Мандельштам О.Э.* Указ. соч. Т. 2. С. 332.

<sup>16</sup> *Пушкин А.С.* Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М.: Правда, 1981. С. 136–137.

<sup>17</sup> *Мандельштам О.Э.* Указ. соч. Т. I. С. 302.

<sup>18</sup> Там же, с. 303.

<sup>19</sup> *Мандельштам О.Э.* Стихотворения. М.: Республика, 1992. С. 482.

<sup>20</sup> Там же. С. 480.

<sup>21</sup> Там же. С. 481.

<sup>22</sup> Там же. С. 160.

<sup>23</sup> Там же. С. 161.

<sup>24</sup> Там же. С. 160.

<sup>25</sup> *Баратынский Е.А.* Стихотворения. Л.: Сов. Писатель. 1948. С. 206.

<sup>26</sup> *Мандельштам О.Э.* Стихотворения. М.: Республика, 1992. С. 161.

<sup>27</sup> *Пушкин А.С.* Собр. соч. в 10 т. Т. 4. М.: Правда, 1981. С. 126.

<sup>28</sup> *Ростан Э.* Сирано де Бержерак. Орленок. М.: Астрель, 2012. С. 608–610.

<sup>29</sup> *Мандельштам О.Э.* Стихотворения. М.: Республика, 1992. С. 162.